

MONSIEUR ILYA

Хирург боярских кровей



III

Monsieur Пуа

**Хирург боярских кровей.
Цена крови. Том 3**

«Автор»

2026

Пуа М.

Хирург боярских кровей. Цена крови. Том 3 / М. Пуа — «Автор», 2026

За всё платят. Это я понял ещё в той жизни, у стола: спас одного – не успел к другому. Только здесь цена будет ещё выше. Я поднялся выше, чем смел мечтать списанный бездарь. Стою у самого горла врага, держу в кулаке чужие тайны и чужие сердца. Вот только за каждую ступень я плачу собой. А тех, кого тащу за собой, война считает уже не поштучно. Меня учили: хирург режет, чтобы спасти. Пришла пора узнать, сколько я готов отрезать. И от кого.

© Пуа М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Глава 1 Двое под рёбрами	6
Глава 2 Короткий поводок	12
Гла	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Хирург боярских кровей. Цена крови. Том 3

Глава

Название: Хирург боярских кровей. Цена крови. Том 3

Автор(-ы): Monsieur Пуа

ТГ канала для отслеживания выхода книг

<https://t.me/monsieurilya>

Глава 1 Двое под рёбрами

Первое утро в новой шкуре Глеб встретил не сном, а работой – как встречал всё важное в обеих своих жизнях.

Канцлера довели до дома перед светом, задними воротами, тихо, и Глеб всю дорогу держал два пальца у него на шее и считал. Сердце, которое он этой ночью выбил обратно в ход кулаком в проулке, шло. Слабо, рвано, с провалами, но шло – и каждый раз, как оно проваливалось в ту пустоту, из которой не возвращаются, Глеб замирал вместе с ним, а после снова ловил под пальцами тонкий, ненадёжный толчок и позволял себе один вдох. Не облегчения. Отсрочки.

«Он умер. По-настоящему умер, на этом сиденье, и я его вернул. Такое сердце не возвращают дважды. То, что оно ещё бьётся, – это не выздоровление. Это заём под большой процент. И платить по нему буду я».

Уложили Острожского в спальне, в глубине дома, и Глеб выгнал всех, кроме одного немого слуги на побегушках. Поднял канцлеру ноги выше головы, распахнул ворот, велел нести холодной воды и весь тот скудный припас, что таскал теперь при себе всегда. Наперстянки не дал – наперстянка гонит, а это сердце гнать было нельзя, его можно было только поить и остужать, как поят загнанную лошадь, которая упала и которую упрасивают встать. Он заварил боярышник, круто, и поил с ложки, между короткими свистящими вдохами старика, и остужал мокрой тряпицей те жилы на шее, где кровь подходит близко к коже.

К рассвету рваный ход под пальцами выровнялся настолько, что можно было назвать это не умиранием, а сном. Острожский задремал – серый, опавший, старый до жути, без единой из тех добрых морщин, которыми он встречал гостей. Наедине с собой и на краю смерти его лицо становилось голым, и Глеб уже видел это лицо однажды, в щель двери, и запомнил.

А когда руки наконец сделались не нужны, поднялся второй.

Не огневик. Огневик Глеб знал наизусть, как знают надоевшего жильца: тот был трус, паникёр, вскидывался на чужой страх, тянул к горлу привкус табака да дешёвого одеколona – и оседал, стоило его назвать. С огневином Глеб научился ладить.

Второй был другой.

Он не паниковал. Он сел в Глебе ровно, по-хозяйски, как садится тот, кто пришёл надолго и уже прикинул, где поставит стол, а где ляжет спать. Голос человека со шрамом – холодного, умелого убийцы, что всю жизнь резал тихо и в спину и не расплёскивал на это ни капли лишнего чувства. Он оглядывал новое жилище без страха, с тем же деловым вниманием, с каким его прежний хозяин оглядывал нутро кареты перед тем, как велеть выходить тихо. И от этого спокойствия Глебу было куда хуже, чем от всей паники огневика.

«Тихо. Я знаю тебя. Ты – рука Северцева, ты резал Демьяна в проулке, ты умер под моим огнём час назад. Лежи. Тут команду я».

Второй не заворочался, не заворчал. Второй – прислушался. Как прислушивается человек, которому сказали слово, и он взвешивает, стоит ли отвечать сейчас или выгоднее подождать. И это молчаливое взвешивание было страшнее любого воя.

Глеб придавил обоих – привычно, узнаванием, как учила чёрная страница, вывезенная Ольгой из родовых книг Зориных. Придавил – и заметил, что нового давить пришлось не силой, а хитростью, потому что сила его не брала: холодного не запугаешь тем, что вас обоих сожгут, ему всё равно, он мёртвый. Пришлось не грозить, а торговаться. И вот это – что с жильцом в собственной груди приходится торговаться, как с чужим человеком, – легло в тот ящик под рёбрами, что становился тяжелее с каждой смертью.

На пороге спальни кто-то тихо кашлянул.

Жильцов. Аникей Петрович стоял в дверях, гладкий, ровный, будто и не было ночи, в которую его хозяина едва не убили на дороге, а нового лекаря едва не разорвало изнутри. Только глаза выдавали, что он не спал: под ними легла та серость, что не смывается водой.

– Жив, – сказал он. Не вопрос – удостоверение. Оглядел канцлера, спящего на высоких подушках, задержался на Глебе – на бурых по локоть руках, которые тот не успел домыть, на разорванном рукаве, под которым запеклась кровь. – И этого вытащил. Из самой ямы вытащил. – Он помолчал, и в гладком голосе не было тепла, а была та особая внимательность, с какой считают вещь, чья цена за одну ночь выросла втрое. – Я тридцать лет при его сиятельстве. Видел, как он поднимался, как ломал Дома, как хоронил тех, кто его недооценил. И ни разу не видел, чтоб его кто-то держал на руках, как ты нынче. – Взгляд стал жёстче. – Что было в том проулке, лекарь?

Глеб отёр руки тряпицей, не торопясь. Успел ночью сговориться с людьми Зориных, что прибрали место, – они и пустят по городу нужную бль: напали лихие люди на канцлеров поезд, лекарь с солдатом отбились, кучер погиб. Никакого огня. Никакого огня там не было.

– Засада, Аникей Петрович, – сказал он ровно. – Ждали у Кожевенного спуска, где темно и глухо. Шестеро, может, семеро – в темноте не сочтёшь. Кучера сняли первым. Мы с Демьяном отбивались у кареты. Его сиятельство от тряски и страха зашёлся сердцем – встало у него сердце, вот что было. Я завёл. Остальное – ночь да кровь, чего там разбирать.

– Отбились, – повторил Жильцов. – Вдвоём. От семерых. Голыми руками да палашом. – Он не сказал «врёшь». Он сказал хуже: – Складно. Ты, лекарь, всё складно рассказываешь. И всякий раз в твоей складности не хватает одного кусочка, и всякий раз этот кусочек – самый важный. – Помолчал. – Ну да ладно. Мёртвых в том проулке уже нет, я послал глянуть – чисто, будто и не было ничего. Кто-то прибрал за тобой быстрее меня. И вот это, лекарь, мне любопытнее всякого огня: у кого в этом городе руки быстрее моих.

«Заметил. Конечно, заметил. Он не хуже меня читает, только с другого конца. Зорины подчистили место так гладко, что гладкость сама стала уликой. Я отвёл от себя огонь – и подставил Ольгину сеть».

Глеб не дрогнул лицом.

– Не знаю, Аникей Петрович, кто прибрал, – сказал он. – Может, те же лихие, что напали, – своих утащили, чтоб приказ не дознался. Воры за собой прибирают, это дело обычное.

– Обычное, – согласился Жильцов, и по тому, как согласился, ясно было, что не поверил ни на грош. Но и давить не стал – спрятал в свою бездонную память ещё одну строчку и повернулся к двери. – Его сиятельство, как очнётся, спросит тебя первым. Не его лекаря, не меня – тебя. Ты теперь, лекарь, при нём ближе, чем тень. Это милость. И это удавка. Помнишь, что я тебе про бумаги говорил? Которые пойдут сами, случись с ним что?

– Помню.

– Так вот теперь их вдвое. – Аникей Петрович чуть склонил голову. – Береги его сердце пуще своего. Оно нынче и есть твоё. – И ушёл, мягко прикрыв дверь.

Глеб остался один – при спящем враге, чью жизнь держал в кулаке и не смел разжать, с двумя чужими голосами под рёбрами и с бурой чужой кровью, засохшей до самых локтей.

«Вот она, цена первой ночи. Я стал сильнее – Скала. Я отбил у Северцева его руку и вырос на ней. А заплатил тем, что взял в себя убийцу, которого не запугать, что подставил Зориных, что привязался к канцлеру уже не бумагами – его остановившимся сердцем, которое завёл своими же ладонями. Аглая говорила: дар – приговор и оружие разом. Она и половины не сказала».

Он пошёл смотреть Демьяна.

Десятника уложили внизу, в крыле для прислуги, подальше от хозяйских глаз, и Глеб был этому рад: чем меньше в доме знали, что канцлеров лекарь дорожит каким-то раненым солдатом, тем целее был солдат. Демьян не спал – лежал, серый, с намотанным на плечо полотном,

сквозь которое проступило бурое, и смотрел в потолок теми глазами, какими смотрят люди, всю ночь прождавшие, вернётся ли командир живым.

– Живой, – выдохнул он, увидев Глеба. И тут же, по привычке виниться даже с того края: – Я одного упустил, барин. Того, со шрамом. Подсёк его под колено, а добить не успел – вы в тот миг... – Он не договорил, глянул на Глебовы руки. – Ушёл он?

– Ушёл, – сказал Глеб, садясь на табурет и берясь за узел на его плече. – Пустой ушёл. Без Силы. Я её забрал.

Демьян молчал, пока Глеб разматывал присохшее полотно, обнажал рану – клинок прошёл вскользь, по мясу, кости не задел, и это была почти удача. Глеб промыл, тронул края – чистые, без того сладковатого духа, что означал бы беду, – и потянулся за иглой.

– Забрали, – проговорил наконец Демьян. – Стало быть, теперь их в вас... – Он запнулся, подбирая, солдату слова про такое давались тяжело. – Двое.

– Двое, – сказал Глеб, не поднимая глаз от шва. Он рассказал Демьяну про огневика ещё после дубильни, не всё, но не соврал, и лгать теперь не собирался. – И второй хуже первого, Демьян. Первый – трус, я его знаю. А второй – холодный. Такой не орёт, не рвётся. Такой сидит и смотрит, где я слаб.

– А как ослабнете?

Глеб затянул стежок, и на миг рука его сама собой дрогнула к иному движению – коротко, экономно, чужому, тому, каким шрам, верно, вспарывал горло в тёмных проулках. Дрогнула и легла обратно. Глеб замер, глядя на собственную кисть.

«Вот. Началось. Его рука в моей. Пока – на один стежок. А через месяц? Через год? Аглая говорила, носители Глотающей теряли себя не разом, а по капле, и всякий раз думали, что это они сами так решили».

– А как ослабну, – сказал он ровно, дошивая, – тогда, десятник, ты мне и понадобишься. Не палаш твой. Ты сам. Чтоб напомнить, кто я, если я забуду. Возьмёшься?

Демьян посмотрел на него долго, тем прямым солдатским взглядом, в котором не было ни страха перед чужими голосами, ни отвращения – одна тяжёлая, спокойная готовность.

– Возмусь, барин, – сказал он. – Я вас с того света руками таскал. Уж как-нибудь и от нечисти в вашей же груди отгоню, коли ползет. Двое всё ж не один.

И Глеб, зашивая рану человеку, которого едва не схоронил три недели назад по собственному складному расчёту, вдруг понял с холодной ясностью, от которой похолодело в груди отдельно от обоих жильцов: вот этот, серый, с распоротым плечом, солдат – и есть его единственный якорь. Единственная рука, что удержит его от того, чтобы стать теми, кого он в себе носит. И если эту руку однажды перебьют – Глеба не станет раньше, чем остановится его сердце.

Он придавил эту мысль тоже. Не время.

За окном крыла для прислуги вставало серое утро, и по двору канцлерского дома уже пошло движение – не обычное, дневное, а то суетливое, дёрганое, какое бывает в доме, куда ночью пришла большая беда. Хлопали двери. Пробегали слуги. У ворот стояла лишняя стража. Весь дом уже знал, что на хозяина покушались, – и весь дом гадал, что теперь будет.

А будет, знал Глеб, война.

Он дошил, перевязал Демьяна чистым, велел лежать и не геройствовать, и поднялся обратно, наверх, к спящему канцлеру, потому что канцлер мог проснуться, а проснувшись – позвать, а звал он теперь первым делом Глеба. И на середине лестницы, в гулкой утренней тишине дома-машины, его нагнал слуга – запыхавшийся, с той белизной в лице, с какой носят вести, от которых стынет кровь.

– Лекарь Глеб. К воротам. Там... там человек. Спрашивает тебя. По имени. Стоит у самых ворот и не уходит, и стража его гонит, а он не идёт, говорит – при тебе дело, и стоит.

– Какой человек? – Глеб уже спускался.

– Не наш. – Слуга сглотнул. – Тихий. Серый весь. И глаза, барин... глаза у него пустые, как прорубь. Стоит и смотрит на дом. С рассвета стоит.

И у Глеба под рёбрами разом, без зова, поднялись оба голоса – огневик заметался, а холодный подобрался, – потому что описание он знал. Серый, тихий, с пустыми, как прорубь, глазами. Такой стоял однажды у водовзводной башни в тумане. Такой сидел на балу у Воронцовых, у дальней стены, и шёл к нему через всю залу под музыку. Печатник.

Только тот Печатник ушёл в ночь за подмогой. А этот пришёл к воротам сам, среди бела дня, и стоял, и ждал, и назвал его по имени.

Глеб вышел к воротам один.

Свиту он не взял нарочно. К таким, как этот гость, не выходят с людьми за спиной – люди только раззадоривают, а Глебу нужно было обратное: чтоб гость увидел усталого лекаря, которому скрывать нечего, а не загнанного зверя, что ошетинился. Он и был усталым лекарем – вторую ночь без сна, чужая кровь до локтей, под рёбрами два голоса, и оба тянулись к воротам, огневик мелким страхом, холодный – ровным вниманием, будто примерялся, откуда бить.

«Тихо. Оба. Тут нельзя. Тут двор канцлера, чужие глаза в каждом окне, и если вы дёрнетесь – я не Печатника выдам, я себя выдам. Сидеть».

Он придавил их и открыл калитку.

Печатник стоял в трёх шагах, за воротным столбом, где падала тень, и в дневном свете был ещё невзрачнее, чем в тумане у башни и в зале у Воронцовых. Серый человек без примет, каких через минуту не вспомнишь: немолодой, сухой, в тёмном простом платье. Только глаза – пустые, светлые, без дна – смотрели на Глеба ровно и не мигая, и от этого взгляда тянуло тем холодом, что не зависит от погоды.

– Лекарь Глеб, – сказал он. Не спросил – назвал, будто сверял по списку, что давно держал в голове. – Калитин. Ты плохо спал.

– Плохо, – согласился Глеб. Отпираться было глупо, а глупость этот человек учуял бы первой. – Ночь была тяжёлая. На поезд его сиятельства напали разбойники. Я лекарь, я всю ночь при раненых. Ты по делу, мил-человек, или пугать пришёл?

Что-то дрогнуло в сером лице – не улыбка, тень её.

– Разбойники, – повторил Печатник тихо. – Семеро разбойников, и трое из них сгорели. Не от факела – от руки. Я нынче ночью был на том спуске, лекарь, раньше твоих прибиральщиков. Я умею читать пепел не хуже, чем ты – живое тело. – Он чуть склонил голову. – Так вот. Тела твоих прибиральщиков унесли чисто. А след Силы, что жгла, унести нельзя. Он остаётся в воздухе, в камне, в кости – как запах остаётся в комнате, где резали. И он там был. Твой.

Под рёбрами у Глеба обоих жильцов подбросило разом, и он вжал их обратно ценой капли пота на виске – одной капли, не больше. Но Печатник эту каплю увидел. Такие для того и говорят медленно, чтоб видеть капли.

– Не понимаю, о чём ты, – сказал Глеб ровно. – Силы во мне нет, меня из Академии за это гнали. Хочешь – спроси Орден, меня в соборе на севере читали при всём городе. Чист вышел.

– Знаю, что читали. – Печатник не повысил голоса ни на ноту, и от этой ровности слова падали тяжелее крика. – Брат Викентий. Читал и не дочитал. Он мне и рассказал про тебя – перед тем как я поехал следом. Он и сейчас думает, что ошибся, что стар стал, что дно у тебя ложное, а не пустое. Хороший он человек, Викентий. Честный. Оттого и слепой. – Пустые глаза сузились. – А я не честный, лекарь. Я – ловчий. И я тебя дочитал ещё у Воронцовых, по одной твоей заминке в дверях. Ты носишь Глотающую. И носишь уже не одну взятую Печать. Нынче ночью ты взял вторую. Я это в пепле прочёл: где горела одна рука, а поднялась – другая. Ты стал вдвое, лекарь. За одну ночь. Такие, как ты, вдвое не становятся. Они на этом ломаются.

Глеб молчал. Отпираться перед этим было всё равно что отпираться перед зеркалом – холодным, всё видящим зеркалом, у которого за плечами двадцать лет таких, как он, сведённых в пепел. И в молчании его была уже не игра. Была работа – быстрая, холодная: не выдать, что оба голоса сейчас скребутся о рёбра изнутри, и не дать этому серому понять, до чего он близко.

«Он знает всё. Про Глотающую, про две Печати, про эту ночь. Викентий сомневается, а этот – нет. И он пришёл сам, среди бела дня, к воротам канцлера, где я под крылом и где меня не тронешь. Зачем? Ловчий, что уверен в добыче, не приходит поговорить. Он приходит с огнём и подмогой. А этот – один и без огня. Значит, ему нужно не сжечь меня. Ему нужно что-то другое. И вот это – страшнее всего, потому что я не знаю, что».

– Ну, допустим, – сказал он наконец, тихо, чтоб не долетело до стражи у ворот. – Допустим, ты дочитал. Тогда чего ты ждёшь? Твоё дело – жечь. Жги. Или зови подмогу, за которой ушёл. Что стоишь у ворот, как проситель?

– Подмога идёт, – сказал Печатник просто. – Я послал за ней той же ночью. Их будет много, лекарь, и придут они не к воротам разговаривать. Тебя в столице приговорили ещё до того, как я тебя нашёл, – Глотающих не судят. – Он помолчал, и впервые в пустых глазах что-то шевельнулось, чего Глеб не смог прочесть, а он читал почти всё. – Я приехал раньше них на день. Один. Противустава. Чтобы задать тебе один вопрос, прежде чем тебя сожгут. Потому что за двадцать лет я сжёг девятерых таких, как ты, и ни один не дожил до второй Печати, не сойдя с ума. А ты дожил. И носишь двоих, и стоишь передо мной, и глаза у тебя – свои. Пока свои. – Он подался чуть вперёд, и голос его упал до нитки. – Скажи мне, лекарь. Как ты их держишь? Чем? Потому что если ты знаешь то, чего не знаем мы, – может, мы триста лет жжём не заразу. Может, мы жжём лекарство.

И вот тут Глеб понял, что земля под ним качнулась.

Он готовился к огню, к подмоге, к тому, что придётся драться или бежать. Он не готовился к этому. Ловчий Ордена, что двадцать лет сводил в пепел таких, как он, стоял у ворот и спрашивал не «кого ты убил», не «где твоя тайна» – спрашивал, как выжить. Спрашивал так, как спрашивает человек, которому самому что-то важное перестало сходитьсь.

«Раскол. Вот оно что. Он не с Орденом заодно – он от Ордена откололся, хотя бы в мыслях, хотя бы на этот один день и один вопрос. Он видел девятерых сожжённых и десятого, что не сошёл с ума, – и в нём что-то треснуло. Он не жечь пришёл. Он пришёл узнать, не зря ли жёг всю жизнь. А это, может, опаснее подмоги. Потому что человек, усомнившийся в деле всей жизни, – он или мой злейший враг, или единственный во всём Ордене, кто мог бы меня не убить».

Глеб смотрел в пустые светлые глаза и взвешивал – быстро, как взвешивал у стола, что резать первым. Соврать – спугнуть единственную трещину, что открылась в стене. Сказать правду – отдать врагу то, чем держится его собственный рассудок. И то и другое могло стоить головы.

Он не успел выбрать.

За спиной, наверху, скрипнула рама. Глеб не обернулся – обернуться значило показать серому, что во дворе есть кому смотреть. Но он и так знал этот звук: окно верхнего жилья канцлерова дома, то самое, из которого Аникей Петрович Жильцов видел двор насквозь. И знал, что Жильцов сейчас видит: канцлеров лекарь у ворот, наедине, вполголоса, с серым тихим человеком, которого не звали и не знают.

Печатник тоже услышал раму. И, не меняясь в лице, отступил на шаг, в глубь тени.

– Подумай над моим вопросом, лекарь, – сказал он совсем тихо, уже уходя. – У тебя есть день, пока не пришли другие. Один день. А после – либо ты скажешь мне, как остаёшься собой, и, может, тогда в Ордене найдётся тот, кто не станет тебя жечь. Либо не скажешь – и сгоришь со всеми своими, как сгорели все до тебя. – Он повернулся уходить и бросил, не оборачиваясь, последнее: – И вот ещё что. Не думай, что твой канцлер – самая большая тень над тобой. Он

тоже кого-то боится. Спроси его как-нибудь на досуге, отчего у первого человека державы так плохо со сном. Может, узнаешь, чья рука выше его руки.

И ушёл – растворился в утренней толчее у стены так же, как возникал всегда, и Глеб не стал смотреть вслед: такие не приводят к себе.

Он стоял у открытой калитки, и в груди у него медленно, тяжело оседали оба голоса, а поверх них ложилось холодом новое знание – слишком много нового знания для одного утра. Орден нашёл его и идёт в силе. Ловчий предложил ему невозможное – день и, может, жизнь – в обмен на то, чем он держит собственный рассудок. А за спиной канцлера, оказывается, стоит кто-то, кого боится сам канцлер.

Он закрыл калитку и обернулся к дому.

В окне верхнего жилья темнела фигура. Жильцов стоял и смотрел вниз, во двор, на своего лекаря, что о чём-то вполголоса толковал с чужим человеком у самых ворот. И даже отсюда, снизу, Глеб видел, как гладкое лицо управляющего сложилось в одну ровную, внимательную линию – ту самую, за которой у этого человека работала самая злая часть ума.

Теперь у Глеба было не два пожара, а три. Орден за воротами. Тень выше канцлера, о которой обронил ловчий. И Жильцов у окна, который только что своими глазами увидел, что канцлеровым лекарем интересуется кто-то, кого канцлеру знать не положено.

А до вечера, он знал, прибавится и четвёртый. Потому что где-то в столице зализывал раны князь Северцев, чья свора нынче ночью не убила волка и потеряла на этом руку со шрамом. И такое не прощают. Такое возвращают.

Глеб вытер о рубаху засохшую чужую кровь на ладонях и пошёл к дому – отмываться и думать, потому что думать было над чем, а времени, как всегда, не было.

День первый в новой шкуре только начинался.

Глава 2 Короткий поводок

Он не дошёл до дома десяти шагов.

Утро на канцлеровом дворе стояло уже полное, деловое: скреблись лопаты, чистившие ночной снег, дымили трубы, у поварни бабы шинковали к столу, и над всем этим висел ровный сытый пар большого дома, что кормится и топится, не зная забот. Мимо, по краю двора, где тень от ограды лежала гуще, скользнули двое. Тихо, скользом, не бегом – так ходят не слуги, а те, кого держат при доме для дел, о которых слугам знать не положено. Они шли к воротам, откуда Глеб только что вернулся, и Глеб, не поворачивая головы, проводил их тем боковым зрением, что нажил за две войны. Люди Жильцова. Аникей Петрович не стал ждать, пока лекарь поднимется к себе и переведёт дух. Аникей Петрович уже послал перехватить серого гостя.

«Опоздают. Печатник таких дворов не задерживается, он и след за собой стирает. Но дело не в том, догонят или нет. Дело в том, что послал он их прежде, чем меня спросил. Он не проверяет – он уже решил, что тут неладно, и теперь ищет, чем это неладное назвать».

Глеб не ускорил шаг. Ускоришь – покажешь, что понял. Он шёл к дому усталой походкой человека, отстоявшего ночь при раненых, и почти дошёл до дверей своего крыла, когда его нагнал молодой прилизанный секретарь – тот самый, что натаскивал гостей перед канцлером.

– Лекарь Глеб. Аникей Петрович просит к себе. Сейчас.

«Не его сиятельство. Жильцов. И не „зовёт“ – „просит сейчас“. Поводок дёрнули второй раз за утро».

– Иду, – сказал Глеб.

Рабочая комната Жильцова в канцлеровом доме была под стать хозяину: ни иконы, ни картин, только стол, два стула да шкаф с бумагами под замком. Место, где не угощают, а решают. Пахло тут сургучом, чернилами и холодной золой из нетопленной с ночи печи – Аникей Петрович тепла для себя не любил, тепло размягчает. Он сидел за столом и писал – мелким ровным бисером, не поднимая головы, дал Глебу постоять. Тот же приём, что и в первый раз, в первый день. Кто заговорит первым, у кого не выдержат нервы.

Глеб стоял спокойно. Он умел ждать у постели по часу, считая чужой пульс. Постоять перед чиновником было нетрудно.

Так они и стояли друг против друга: один сидел и писал, другой стоял и ждал, и в том, кто сидит, а кто стоит, была уже вся безмолвная их тяжба. Перо скрипело мерно, бисер ложился строка к строке, и за этим скрипом крылась не работа, а расчёт: пусть лекарь постоит, пусть в тишине сам переберёт, чем провинился, пусть сам себя допросит прежде допроса. Приём был стар как мир. Глеб знал ему цену – и всё же чувствовал, как тишина давит на плечи, как исподволь тянет её нарушить, заговорить первым, оправдаться раньше, чем спросят. Оттого приём и держится: молчание чиновника с пером тяжелее всякого вопроса. Глеб не поддался. Он дал тишине давить и переждал её, глядя в стену поверх гладкой жильцовской головы, как переждал не раз чужую агонию, – ничем не выдавая, чего это стоит.

– Кто он? – спросил Жильцов, не отрываясь от строки и не здороваясь.

– Кто, Аникей Петрович?

– Человек у ворот. – Управляющий дописал, присыпал песком, отложил перо и поднял на Глеба глаза – цепкие, спокойные, всё видящие. – Серый. Тихий. С которым ты нынче поутру толковал вполголоса у самой калитки, отослав прежде свиту. Не притворяйся, что не помнишь, – память у тебя, лекарь, отменная, я проверял. Кто он и о чём вы говорили.

Тут в груди у Глеба и поднялся первый.

Огневик метнулся жаром к самому горлу, к ладоням – паникой, чужой паникой того, кого некогда точно так же прижали к стене и раздели взглядом перед концом. Привкус табака и дешёвого одеколona плеснул в рот, будто Глеб только что стоял у чужого накрытого стола. Зна-

комая тварь, понятная. Глеб придавил её привычно, назвав по имени, и жар отступил, оставив только сухость в горле.

Следом поднялся второй, и второй был другой.

Не жар – холод. Медленный, ровный холод потёк от солнечного сплетения вверх, и Глеб ощутил, как его собственное сердце, только что частившее от Жильцова взгляда, вдруг замедлилось, будто чужая рука легла ему на грудь изнутри и придержала. Во рту стало не табаком – медью и чем-то острым, грозovým, как перед молнией. И пришла мысль, спокойная, деловая, чужая до последней запятой.

«Он один в комнате. Дверь закрыта. Стража – через двор. У него, у мягкого управляющего, под левым ухом жила подходит близко к коже, и одно движение – короткое, скупое, я знаю какое, – и вопросов больше не будет. И крика не будет. Он оседет тихо, как оседает тот, кому нечем стало жить. А ты, лекарь, выйдешь и скажешь: старику стало худо с сердцем, я не успел».

Глеб не дрогнул лицом. Снаружи – ни черты. Но внутри его окатило ужасом чище всякого страха перед Жильцовым, потому что это была не его мысль. Это шрам в нём прикидывал, как убить человека, и прикидывал так же буднично, как сам Глеб прикидывал, что резать первым. И самое страшное – мысль была дельная. Он и вправду знал это движение под ухом. Знал теперь.

«Назад. Это не решение. Это ты, тварь, а не я. Я не режу тех, кого могу переговорить. Лежи».

Огневика Глеб глушил угрозой – боялся тот за свою шкуру. Шраму угрожать было нечем: мёртвому всё равно, сгорят их или нет. С ним пришлось иначе – не пугать, а перекупить, подсунуть ту же холодную выгоду, что тот понимал: убьёшь Жильцова – потеряешь дом, крыло над канцлером, доступ, всё, ради чего лез; невыгодно. И холодный, взвесив, осел. Не отступил – согласился, что нынче невыгодно. И от этого согласия по спине Глеба прошёл озноб, потому что торговаться с убийцей в собственной груди о том, кого не резать сегодня, – это уже была не власть над жильцом. Это был договор двух хозяев в одном доме.

Всё это заняло два удара его замедленного сердца. За эти два удара Жильцов успел только чуть сузить глаза – заметил заминку, как замечал всё, но понять не понял.

– Нищий, Аникей Петрович, – сказал Глеб тем усталым голосом, каким говорят правду, которой нечего скрывать. – С севера прибил. Помнишь, я с северной границы? Там про меня после турнира слух пошёл, что бездарь Калитин в столицу подался к большим людям. Вот и потянулись. Этот – не первый. Стоял, канючил: земляк, мол, замолви за меня словцо перед канцлером, пристрой к делу. Я его отвадил. Гнать велел. Он и ушёл.

– Земляк, – повторил Жильцов. И по тому, как повторил, ясно было, что не поверил ни на грош. – Земляк, что стоит у ворот с рассвета, стражу не боится, а как мои люди пошли его брать – растворился, будто и не было. Земляки так не тают, лекарь. Так тают те, кого учили таять. – Он сложил мягкие руки на столе. – Я тебе один раз уже говорил: в твоей складности всегда не хватает одного кусочка, и всегда он самый важный. Вот и сейчас не хватает. Ну да ладно.

Он не давил дальше. Он сделал хуже.

– С нынешнего дня, – сказал Аникей Петрович буднично, будто о погоде, – при тебе будет человек. Не в тягость, не соглядатай, боже упаси, – в помощь. Носить, подавать, охранять твой драгоценный покой. Ты ведь при его сиятельстве неотлучно, тебе помощник и положен. Зовут Гриша. Малый услужливый. Будет при тебе денно и ночью. – Гладкое лицо не двинулось. – А то, вишь, к канцлерову лекарю чужие люди ходят, а лекарь один да без пригляду. Непорядок. Я порядок люблю.

«Проиграл раунд. Не отбрехался – только оттянул. Он не поверил про земляка, но и уличить не смог, и оттого сделал то, что делает всегда, когда не может достать прямо: приставил глаз. Теперь при мне будет ходить его человек, считать, к кому я подхожу, с кем шепчусь, когда

выхожу и куда. Ольгин канал через поварёнка, встречи у башни, всё – под пригляд. Я думал, я в золотой клетке. А клетка, оказывается, ещё и с дверцей, у которой теперь сидит сторож».

– Как скажешь, Аникей Петрович, – сказал Глеб смиренно, потому что спорить значило показать, что пригляд ему поперёк, а это и есть улика. – Лишние руки при больном не помеха.

– Вот и славно. – Жильцов снова взялся за перо, разговор для него был окончен. И уже такая в чернильницу, обронил, не поднимая головы: – И вот ещё, лекарь. Не знаю, что за серый к тебе ходит и чего ему надо. Может, и правда нищий. А может, и нет. Мне без разницы. Но заруби: если из-за твоих гостей на его сиятельство ляжет хоть тень, хоть слушок, – я тебя, лекарь, вытащу из-под канцлерова крыла быстрее, чем ты моргнёшь. Крыло-то его. А рука, что тебя под это крыло сунула и из-под него вынет, – моя. Ступай.

Глеб вышел, и в спину ему уже пристроился давешний услужливый Гриша – молодой, крепкий, с пустым приветливым лицом и цепкими, всё замечающими глазами. Пошёл на полшага сзади, как ходит тень.

И от этого ровного шага в спину Глебу делалось телесно не по себе – будто к нему пришили тень, которая дышит. Он и прежде жил в этом доме под приглядом: канцлеровы стены слышали, канцлеровы окна глядели. Но то был пригляд общий, домовый, безличный, как погода, к которой привыкаешь и её не замечаешь. А это был пригляд к нему одному – приставленный, дышащий в затылок, считающий его шаги, его слова, тех, к кому он подойдёт. Свобода его, и без того куца, сжалась ещё на локоть, и Глеб знал, что теперь всякую малость – кому кивнуть, у кого задержаться, куда свернуть в переходе – придётся делать с оглядкой на приветливое пустое лицо за плечом. Он попробовал Гришу на ходу, как пробуют новую сбрую: замедлился у окна – Гриша замедлился; свернул к лестнице – свернул и Гриша, ровно на те же полшага сзади. Ходить эта тень была приучена крепко.

До своего крыла Глеб шёл и подводил холодный итог, потому что итог подводить умел, даже когда всё горело.

«За одно утро я оброс. Орден за воротами и день сроку. Тень выше канцлера, о которой сам канцлер молчит. Жильцов, который меня не уличил, но приставил сторожа. Северцев, который к вечеру опомнится и вспомнит про свою потерянную руку. И два убийцы в груди, один из которых нынче предложил мне решить дело кровью и был, чёрт бы его, прав по-своему. Диагноз: избыток смертей вокруг и внутри, острая нехватка времени, прогноз осторожный. Хорошо, что я привык к осторожным прогнозам. С хорошими я и работать разучился».

В крыле его ждали двое.

Демьян – сидел на своей лежанке, серый, с намотанным плечом, и по лицу его Глеб сразу понял: неладное стряслось, пока он был у ворот и у Жильцова. А на столе, у изголовья, лежала склянка – тёмного стекла, залитая поверху сургучом. Красным.

Гриша остановился в дверях, привалился к косяку с тем скучающим видом, за которым такие, как он, слушают в оба уха.

– Снадобье от аптекаря, барин, – сказал Демьян громко, для Гриши, и в голосе его была та деревянная простота, которой он прикрывал важное. – Для плеча моего. Малец принёс. Я взял.

Глеб взял склянку в руки, и сквозь тёмное стекло пальцы нащупали под пробкой, поверх снадобья, тугой комок бумаги. И сургуч был красный. Красный сургуч значил одно, и от этого одного у Глеба тонко, предостерегающе кольнуло в груди – не эхо на этот раз, другое, давно забытое, тёплое и оттого некстати.

Ольга.

Ольга давала знать. И давала знать не тогда, когда было спокойно, а нынче – в то самое утро, когда у ворот стоял Орден, а в дверях его собственного крыла привалился к косяку чужой глаз.

«Она уже знает. Про засаду, про огонь, про то, что Орден взял след. Её сеть услышала раньше, чем город проснулся. И она пишет мне – прямо сейчас, когда за мной поставили сто-

рожа. Вопрос один: она пишет предупредить – или пишет, что чистка проулка, которой я нынче отвёл от себя огонь, стоила Зориным слишком дорого».

Он зажал склянку в кулаке, тёплую от чужой заботы и холодную от того, что могло быть внутри, и, не оборачиваясь, спиной почувствовал, как в дверях чуть подобрался Гриша – заметил, что лекарь замер над пустяковой склянкой дольше, чем стоит замирать над снадобьем для солдатского плеча.

При Грише читать было нельзя. И Глеб сделал то, что умел лучше всего, – спрятал важное за ремеслом.

– Гриша, – сказал он, ставя склянку на стол как самую обычную. – Раз ты при мне, будь полезен. Десятнику надо плечо перевязать, рана свежая, гноя боюсь. Неси кипятку, побольше, и чистого полотна, у ключницы возьмишь. Да мигом, кровь ждать не любит.

Гриша помялся – ему велено было не отходить, а тут посылали, и в круглом приветливом лице шла короткая борьба между двумя приказами. Но лекарь при канцлеровом человеке распоряжался по своей части законно, отказать значило бы объяснять Жильцову, отчего не принёс кипятку раненому, а объяснять такому, как Жильцов, себе дороже. Гриша ушёл. Не насовсем – на те несколько минут, что нужны сбегать к ключнице и обратно.

Глеб этих минут хватило.

Он сломал сургуч, вынул из-под пробки тугой комок бумаги, развернул спиной к двери. Письмо было короткое, писано острым знакомым почерком, тем самым, что он помнил ещё по рассвету над родовыми книгами Зориных.

«Знаю про эту ночь. Про огонь на спуске знаю раньше, чем узнал город. И знаю, кто ещё прочёл тот пепел. Орден взял след, и это не один ловчий – за ним идёт подмога, в силе, я насчитала на подъезде к столице троих в сером и не поручусь, что всех. Тебя гонят не только они. Северцев жив, зол и умён: он не полезет второй раз на канцлерово крыло, он сделал тоньше – пустил по столице слух про лекаря, что жжёт голой рукой, и пустил нарочно, чтоб слух дошёл до Ордена и привёл их прямо к тебе, в дом Острожского. Ты для него теперь не враг, которого надо зарезать. Ты фитиль, который надо поджечь и отойти. Береги огонь пуще жизни – каждая искра при чужих теперь работает на него».

Дальше рука дрогнула – Глеб увидел это по нажиму, буквы пошли твёрже, злее.

«И вот чего я тебе не хотела писать, да напишу, потому что ты имеешь право знать цену. Тот проулок за тобой прибирали мои. Тихо, быстро, чисто – ты и не почувял. Только один не ушёл. Молодой, из наших дальних, Гурий, двадцать лет ему было. Его взяли на месте – не Орден, не Жильцов, приказные, случайно, обход. И я не смогла его вытащить: вытащить значило назвать, чьи там мёртвые и кто их таскал, а назвать значило открыть всю сеть. Я его не вытащила, Глеб. Я заплатила, чтоб он замолчал сам и навсегда, прежде чем заговорит под приказными. Своими руками, своей волей. За твой огонь на том спуске род Зориных отдал одного своего, и это я решила, не ты. Так что не бери на себя. Но и знай. У всего есть цена, и по этой заплачено вперёд».

Глеб стоял над письмом, и в груди у него было тихо – оба жильца молчали, им до чужой смерти в чужом письме дела не было, они кормились кровью горячей, при них, а не остывшей и далёкой. Тихо было в другом месте, там, где у человека не жилыцы, а он сам.

«Двадцать лет. Гурий. Я его не видел, не узнаю, если встречу на том свете. Он чистил за мной проулок, чтоб отвести от меня Орден, и попался, и его убрали свои, чтоб не выдал меня под пыткой. Я отвёл от себя огонь – и огонь достал мальчишку, которого я в лицо не знал. Вот она, цена крови. Не моя кровь. Всегда чья-то ещё».

Он стоял и держал в себе этого Гурия, которого не знал и не узнает: двадцатилетнего, дальнего, чужого, положенного в мёрзлую землю за то, что прибирал за Глебовым огнём. За две войны Глеб свыкся с мёртвыми – он их латал, терял, хоронил, научился нести. Но те были при нём, у него под руками, за них он дрался и проигрывал в открытую, лицом к лицу. А этот умер где-то на краю города, тихо, по чужому решению, за чужую вину, и Глеб не мог отдать ему даже того малого, что отдают павшим, – памяти лица. Он мог только знать, что цена заплачена, и что платить по этому счёту будет не он, а всегда кто-то рядом, кто-то ещё, откуда он носит в себе огонь, за который расплачиваются чужой кровью.

Он поднёс письмо к свече и держал, пока острые Ольгины буквы не свернулись чёрным, и растёр пепел по блюду. «Жги по прочтении» она не написала – знала, что и без приказа сожжёт. И в самом конце, у последней строки, было ещё, дописанное вкось, наспех, будто она колебалась, писать ли:

«Свидеться нам теперь долго нельзя – за тобой смотрят, я вижу твоего нового пса от самых ворот. Держись. И не считай мёртвых в одиночку, ты это любишь. Двое считать легче. Я рядом, хоть и не видно».

Это Глеб сжёг последним, и это горело дольше всего.

А холоднее всего лёг на него не Орден, не Гурий даже, а то, что сделал Северцев. Орден был враг прямой: придут, возьмут, сожгут – хоть понятно, с какой стороны беда. А волк сделал тоньше и гаже. Он не поднял на Глеба руки – он обратился в оружие против Глеба его собственный дар, самую его суть. Теперь всякая искра, всякий раз, как огневик рванётся наружу, всякое исцеление, что Глеб сотворит не таясь, работало на Северцева, подтверждало слух, вело Орден по следу. Северцев устроил так, что Глебу стало опасно быть собой. И бороться с этим было нельзя ударом – только тем, чтоб зажаться, спрятать огонь, стать серее серого. А зажатый огонь, Глеб уже знал по себе, копится и рвётся тем злее, чем дольше его держат взаперти.

Демьян с лежанки смотрел на него молча – видел, что письмо тяжёлое, а спрашивать не спрашивал, знал, что барин скажет ровно столько, сколько решит. И Глеб решил сказать немного, потому что немного было как раз то, что Демьяну знать полезно, а не опасно.

– Орден идёт в силе, – проговорил он вполголоса, сядя к его плечу и берясь за старый узел, чтоб при вернувшемся Грише всё выглядело как перевязка. – Северцев пустил про меня слух нарочно, чтоб их на меня навести. Он меня не резать будет. Он меня чужими руками жечь будет. Умно, гад.

– А наши что? – так же тихо спросил Демьян. – Те, дальние, ваши новые?

Глеб помолчал, разматывая полотно. Рана под ним заживала честно, чистым краем, без гнили, и это малое благополучие под пальцами было сейчас чуть ли не единственным, что в дому шло как надо.

– За эту ночь заплатили, – сказал он наконец. – Одним. Молодым.

Демьян не охнул, не перекрестился напоказ – он был солдат, он знал счёт войне. Только желваки у него закаменели, и он проговорил глухо, глядя в стену:

– Вот с этого, барин, всегда и начинается. Сперва чужой мальчишка, которого ты в глаза не видал. А там и своих считать пойдёшь. Я это на двух войнах видал. – Он повернул к Глебу тяжёлый взгляд. – Вы только про уговор наш не забудьте. Как ослабнете под этими своими, что в груди, – меня зовите. Я вас в человеке удержу. Пока дышу.

– Пока дышишь, – повторил Глеб, затягивая свежий узел, и не сказал того, что кольнуло его при этих словах отдельно от обоих жильцов, холодной иглой в самое нутро: что война уже начала считать, и первый счёт лёг сегодня, и что якорь, которым Демьян обещал держать его человеком, сам сделан из мяса и кости, и его тоже можно перебить. Он придавил и эту мысль. Не время.

В дверях загремел кипятком вернувшийся Гриша – притащил ведёрко, чистое полотно под мышкой, и встал, глядя, как лекарь возится с солдатским плечом, будто ничего важнее в этом крыле и не дейлось.

Следом за Гришей, почти наступая ему на пятки, влетел запыхавшийся секретарь – второй раз за утро, и по лицу его Глеб понял, что теперь зовут не от Жильцова.

– Лекарь Глеб. Его сиятельство очнулись. И первым делом – тебя. Велено – бегом.

Глеб поднялся, отёр руки. Канцлер очнулся – значит, сердце, которое он завёл этой ночью кулаком, продержалось до утра и вернуло старику сознание. А очнувшись, волк первым делом позвал не своего домашнего лекаря, не Жильцова, не родню, которой у него не было, – его. Того, кто держал в ладонях его остановившуюся жизнь.

«Проснулся волк. И проснулся не благодарить. Он проснулся воевать. Северцев поднял на него руку – такое волк не спускает, даже полумёртвый, даже с сердцем на ниточке. Он позвал меня, чтобы начать. А я теперь его глаз, его рука и его лекарь разом, и он двинет меня туда, где ему нужно видеть, – а нужно ему видеть Северцева. И значит, скоро я снова окажусь там, где холодный, что сидит во мне, узнает родные стены и родные лица. Он же оттуда. Он же северцевский».

И, шагнув к двери, мимо Гриши с его кипятком, к лестнице, что вела наверх, к спальне ожившего врага, Глеб впервые за это утро почувствовал, как второй жилец под сердцем шевельнулся сам, без чужой крови рядом, без всякого повода, – шевельнулся ровно, внимательно, будто слышал слово «Северцев» и поднял голову.

Будто заскучал по дому.

Гла

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.